

≈ 56 мин

|

Мещанство — это строй души современного представителя командующих классов. Основные ноты мещанства — уродливо развитое чувство собственности, всегда напряженное желание покоя внутри и вне себя, темный страх пред всем, что так или иначе может вспугнуть этот покой, и настойчивое стремление скорее объяснить себе все, что колеблет установившееся равновесие души, что нарушает привычные взгляды на жизнь и на людей.

Но объясняет мещанин не для того, чтобы только понять новое и неизвестное, а лишь для того, чтобы оправдать себя, свою пассивную позицию в битве жизни.

Отвратительное развитие чувства собственности в обществе, построенном на порабощении человека, может быть, объясняется тем, что только деньги как будто дают личности некоторую возможность чувствовать себя свободной и сильной, только деньги могут иногда охранить личность от произвола всемогущего чудовища — государства.

Но объяснение — не оправдание. Современное государство создано мещанами для защиты своего имущества — мещане же и дали государству развиваться до полного порабощения и искажения личности. Не ищи защиты от силы, враждебной тебе, вне себя — умей в себе самом развить сопротивление насилию.

Жизнь, как это известно, — борьба господ за власть и рабов — за освобождение от гнета власти. Темп этой борьбы становится все быстрее по мере роста в

народных массах чувства личного достоинства и сознания классового единства интересов.

Мещанство хотело бы жить спокойно и красиво, не принимая активного участия в этой борьбе, его любимая позиция — мирная жизнь в тылу наиболее сильной армии. Всегда внутренне бессильное, мещанство преклоняется перед грубой внешней силой своего правительства, но если — как мы это видели и видим — правительство дряхлеет, мещанство способно выпросить и даже вырвать у него долю власти над страной, причем оно делает это, опираясь на силу народа и его же рукой.

Оно густо облепило народ своим серым, клейким слоем, но не может не чувствовать, как тонок этот холодный слой, как кипят под ним враждебные ему инстинкты, как ярко разгорается непримиримая, смелая мысль и плавит, сжигает вековую ложь...

Этот натиск энергии снизу вверх возбуждает в мещанстве жуткий страх пред жизнью,— в корне своем это страх пред народом, слепой силой которого мещанство выстроило громоздкое, тесное и скучное здание своею благополучия. На тревожной почве этого страха, на предчувствии отмщения у мещан вспыхивают торопливые и грубые попытки оправдать свою роль паразитов на теле народа — тогда мещане становятся Мальтусами, Спенсерами, Ае-Бонами, Ломброзо — имя им легион...

В будущем, вероятно, кто-то напишет «Историю социальной лжи» — многотомную книгу, где все эти трусливые попытки самооправдания, собранные воедино, представят собой целый Арарат бесстыдных усилий подавить

очевидную, реальную истину грудями липкой, хитрой лжи.

Мещане всегда соблазняются призрачной возможностью доказать самим себе и всему миру, что они ни в чем не виноваты.

И доказывают более или менее многословно и скучно, что в жизни существуют необоримые, роковые законы, созданные богом, или природой, или самими людьми, что по силе этих законов человек может удобно устроиться только на шее ближнего своего и что, если все рабочие захотят есть котлеты, — на земле не хватит быков...

Противоречия между народом и командующими классами — непримиримы. Каждый человек, искренно желающий видеть на земле торжество истины, свободы, красоты, должен бы, по мере сил своих, работать в пользу быстрее и нормального развития этих противоречий до конца — ибо в конце этого процесса пред всеми людьми с одинаковой очевидностью встанет и преступность нашего общественного устройства и ясная для всех невозможность дальнейшего существования его в современных формах...

Мещанство всегда пытается задержать процесс нормального развития классовых противоречий.

Когда в жизни усиливается трение враждебных сил, мещане тревожно прячут головы под крыло какой-либо примирительной теории. Уклоняясь от личного участия в борьбе, мещанин старается ввести в нее более или менее авторитетное третье лицо и возлагает на него защиту своих мещанских интересов. Раньше он ловко пользовался для своих целей богом; задавив бога

устройством церкви — обратился к науке, везде стараясь найти доказательства необходимости для большинства людей подчиниться меньшинству.

Каждый раз, когда на светлом и величественном храме науки появляется какая-то темная, подозрительная плесень, — так и знайте! — это мещанин коснулся храма истины своей нахальной, нечистой рукой...

Науку родили опыт и мысль человечества, она есть свободная сила, которую трудно подчинить интересам мещанства,— в науке не нашлось доводов, оправдывающих бытие мещанства, напротив — чем дальше она развивается, тем более ярко освещает вред паразитизма...

На почве усиленных попыток примирить непримиримое у мещанина развилась болезнь, которую он назвал — совесть. В ней есть много общего с тем чувством тревожной неловкости, которое испытывает дармоед и бездельник в суровой рабочей семье, откуда — он ждет — его могут однажды выгнать вон. В сущности, и совесть — все тот же страх возмездия, но уже ослабленный, принявший, как ревматизм, хроническую форму... Эта особенность мещанской души позволила мещанину создать новое орудие примирения — гуманизм, — это нечто вроде религии, но не так цельно и красиво: тут есть немного логики, немного доброго чувства, жалости и много наивности и всего больше христианского стремления дать людям вместо хлеба насущного мыльные пузыри. В конце концов — это милостыня народу, довольно жалкие и пресные крохи, великодушно брошенные богатым Лазарем своему бедному тезке... Это не имело успеха, народ не насытился, не стал более кротким и по-прежнему хотя и безмолвно, но очень косо смотрел голодными глазами, как пожирались

плоды его труда... Было ясно — гуманизм не может служить для мещан орудием защиты против напора справедливости...

Мещанин любит говорить народу: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», но под ближним всегда подразумевает только самого себя и, поучая народ любви, оставляет за собою право жить за счет чужого труда — незыблемым.

Когда мещанство убедилось, что народ не хочет быть гуманным и учение Христа не примиряет рабочего с его ролью раба, навязанной ему государством, — оно почувствовало и гуманизм и религию как излишний балласт в своей тесной, квадратной, маленькой душе, оно захотело освободить себя от этого балласта — отсюда и начался отвратительный процесс разложения мещанской души.

Нужно было видеть пьяную радость мещан, когда Ницше громко заговорил о своей ненависти к демократии!

Им показалось, что вот, наконец, явился некий Геркулес, он очистит авгиевы конюшни мещанской души от серой путаницы понятий, освободит из мелкой и пестрой сети чувствований, которую они так долго, усердно и бездарно плели своими руками, которая связала их взаимно друг друга отрицающими нитями,— «я хочу, но я не должен, я должен, но я не хочу»,— связала и привела в тупик бессильного отчаяния — «я не могу жить». Мещанство немедленно сделало из Ницше идола, заключив всю многообразную душу его в один жуткий крик:

«Спасайтесь, как сможете. Мир погибает, ибо идет демократия!»

Но это был крик агонии самого мещанского общества, издыхающего от утомления в поисках хотя бы и дешевого, но прочного счастья, хотя бы и скучного, но устойчивого покоя, тесного, но твердого порядка. Может быть, Ницше был гений, но он не мог сделать чуда, не мог влить новую горячую кровь в изношенные жилы и огнем своей души не мог пережечь мелких лавочников в аристократов духа. Призыв к самозащите пал на бесплодную почву — мещанство живет чужим трудом и может бороться только чужими руками...

Раньше оно могло покупать людей на службу себе деньгами, позднее подкупало их обещаниями и всегда обманывало. Теперь, когда люди начали понимать свои личные интересы, их трудно обмануть. Люди всё более резко делятся на два непримиримых лагеря — меньшинство, вооруженное всем, что только может защитить его, большинство, у которого только одно оружие — руки — и одно желание — равенство. Направо стоят бесстрастные, как машины, закованные в железо рабы капитала, они привыкли считать себя хозяевами жизни, а на самом деле это безвольные слуги холодного, желтого дьявола, имя которому — золото. Налево всё быстрее сливаются в необоримую дружину действительные хозяева всей жизни, единственная живая сила, все приводящая в движение, — рабочий народ... сердце его горит уверенностью в победе и он видит свое будущее — свободу...

Между этими двумя силами растерянно суетятся мещане, — они видят: примирение невозможно, им стыдно идти направо, страшно — налево, а полоса, на которой они толкнутся, становится всё теснее, враги всё ближе друг к другу, уже начинается бой...

Что делать мещанину? Он не герой, героическое непонятно ему, только иногда на сцене театра он любуется героями, спокойно уверенный, что театральные герои не помешают ему жить. Он не чувствует будущего и, живя интересами данного момента, свое отношение к жизни определяет так:

*Не рассуждай, не хлопочи,
Безумство ищет, глупость судит;
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть тому, что будет,
Живя — умей все пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Чего желать? О чем тужить?
День пережит — и слава богу...*

Он любит жить, но впечатления переживает неглубоко, социальный трагизм недоступен его чувствам, только ужас пред своей смертью он может чувствовать глубоко и выражает его порою ярко и сильно. Мещанин всегда лирик, пафос совершенно недоступен мещанам, тут они точно прокляты проклятием бессилия...

Что им делать в битве жизни? И вот мы видим, как они тревожно и жалко прячутся от нее, кто куда может — в темные уголки мистицизма, в красивенькие беседки эстетики, построенные ими на скорую руку из краденого материала; печально и безнадежно бродят в лабиринтах метафизики и снова возвращаются на узкие, засоренные хламом вековой лжи тропинки религии, всюду внося с собою клейкую пошлость, истерические стоны души, полной

мелкого страха, свою бездарность, свое нахальство, и всё, до чего они касаются, они осыпают градом красивеньких, но пустых и холодных слов, звенящих фальшиво и жалобно.

Эту скучную и тревожную суету мещанства наших дней, испуганного предчувствием своей гибели, последнюю главу его бесцветной истории можно назвать так:

«Мещане, кто во что горазд!»

II

Каждый, разумеется, видит все в жизни так, как он хочет видеть, а кто ничего не хочет, видит только себя — скучное и жалкое зрелище!

МЕЩАНИН НЕ СПОСОБЕН ВИДЕТЬ НИЧЕГО, КРОМЕ ОТРАЖЕНИЙ СВОЕЙ СЕРОЙ, МЯГКОЙ И БЕССИЛЬНОЙ ДУШИ.

Наиболее уродливые формы отношения мещанства к народу сложились в нашей нелепой стране. Вероятно, на земле нет другой страны, где бы командующие классы говорили и писали о народе так усердно и много, как у нас, и уж, наверное, ни одна литература в мире, кроме русской, не изображала свой народ так приторно-слащаво и не описывала его страданий с таким странным, подозрительным упоением.

Придавленный к земле тяжелым и грубым механизмом бездарно устроенной государственной машины, русский народ — скованный и ослепленный Самсон — воистину, великий страдалец!

И, воистину, с молчаливым терпением титана долго держал он на плечах своих страшную тяжесть рабского, каторжного труда, зверских преступлений со стороны власти, сладострастного издевательства над его личностью помещиков и полиции, держал безропотно и лишь порою, встряхнув плечами, рвался к свободе, но — слепой — не находил пути к ней, и снова и еще крепче связывали его...

Когда человека пытаются, а он, полный презрения к палачам, мужественно молчит,— это красиво, это вызывает восторженное уважение к мученику и несомненно является прекрасной темой для поэта...

Но когда русского мужика бьют по зубам, секут розгами, ломают ему ребра, а он, едва ли в чем-либо виновный, стонет «не буду!» — в этом мало человеческого и совсем нет красоты — это должно бы вызывать гнев и ненависть к силе, угнетающей народ, должно бы возбуждать страстное, упорное желание разрушить и перестроить мрачную, душную казарму, в которой задыхается родина.

Русская литература с печальным умилением смотрела, как тупая сила власти, разнузданной своей безнаказанностью, насилует русский народ, как она старательно отравляет суевериями этот вечный источник энергии, которой бесправно пользуются все, как истощается почва, дающая всем и хлеб и цветы, она смотрела на это преступление против жизни ее родины и лирически

вздыхала:

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа!

Наша литература — сплошной гимн терпению русского человека, она вся пропитана тихим восторгом пред страдальцем-мужичком и удивлением пред его нечеловеческой выносливостью.

Где ты черпал эту силу? — спрашивает она его, но народ был для нее натурой, с которой она красиво и сочно писала более или менее талантливые картины для удовлетворения своих творческих эмоций и эстетического вкуса мещан...

Соль истинной поэзии в изображениях мужика и его жизни, даже у крупных писателей, часто и странно смешивается с патокой грустного лиризма, а он всегда неуместен при описаниях жизни русской деревни, ибо, по меньшей мере, неприлично лирически вздыхать, когда на ваших глазах люди утопают в грязи и во тьме.

И всегда в отношениях русского писателя к своим героям-мужикам чувствуется нечто вроде удовольствия видеть их ничтожными, мягкими, добрыми и терпеливыми...

Положим — необходимо употребить солидные усилия для того, чтобы вывести из терпения русского мужика, но наше правительство — воздадим ему должное! — всегда успешно выполняло эту задачу; однако роскошное зеркало

русской литературы почему-то не отразило вспышек народного гнева — ясных признаков его стремления к свободе. Она изображала нам Калиныча и Хоря, героя «Муму», Касьяна, Антона Горемыку, Платона Каратаева, дедушку Якова и Мазая, Акима во «Власти тьмы» и бесконечную вереницу иных мудрых, но косноязычных и немых людей. На ее глазах из среды народа выходили: Ломоносовы, Кольцовы, Никитины, Суриковы, но она не замечала их и забыла отметить в прошлом таких крупных выразителей народной воли, как Разин и другие. Она не искала героев, она любила рассказывать о людях сильных только в терпении, кротких, мягких, мечтающих о рае на небесах, безмолвно страдающих на земле. Все они терпеливо — непременно терпеливо, без гнева, без ропота! — несут на плечах своих гнетущие душу и тело невзгоды и позор рабской жизни. Милые люди! Они совершенно не способны к делу строительства жизни и кажутся созданными природой специально для мирной работы на господ. Такие славные божьи коровки — эти духовно чистенькие мужички, они так любовно мудры, полны такой готовностью страдать, что, право, удивляешься, как можно было таких людей-младенцев драть на конюшнях плетьюми, пороть розгами, продавать оптом и в розницу, как баранов, и вообще обращаться с ними... неделикатно?

Сознательно или бессознательно, но всегда настойчиво наша дворянская литература рисовала народ терпеливо равнодушным к порядкам его жизни, всегда занятым мечтами о боге и душе, полным желанием внутреннего мира, мещански недоверчивым ко всему новому, незлобивым до отвращения, готовым все и всем простить, курносый идеалист, который еще долго и долго способен подчиняться всем, кому это нужно.

МЕЩАНСТВО ЧИТАЛО КРАСИВЫЕ РАССКАЗЫ О СМИРНОМ РУССКОМ НАРОДЕ, ИСКРЕННО ВОСХИЩАЛОСЬ ЕГО НЕЗЛОБИВЫМ ТЕРПЕНИЕМ И, СПОКОЙНО, КРЕПКО СИДЯ НА ЕГО ХРЕБТЕ, ДАЛО ЕМУ ЛЕСТНЫЙ ТИТУЛ НАРОДА-БОГОНОСЦА.

Ко времени вынужденного народом освобождения его от крепостного права, и — кстати — от земли, в нашей стране, как это известно, образовался небольшой, но энергичный слой людей, сильных духом и внутренне свободных. Это была смелая вольница, «кто с борку, кто с сосенки», — неудачные дети духовенства, уроды из дворянских семей, блудные сыновья чиновников, только что рожденные фабрикой рабочие — всё умные, здоровые, веселые работники, бодрые, как люди, проснувшиеся на рассвете ясного майского дня. Полные молодой жажды жизни красивой и свободной, они увидели пред собой жизнь, устроенную их отцами, и с презрением, с гордой насмешкой отвернулись от нее — тесной, скучной, нищенски бедной содержанием, формами и красками, нагло и грубо построенной на непосильном труде ограбленного, темного народа.

Вокруг них шумно суетилось встревоженное реформами мещанское общество, — ожиревшее, вырождающееся, уже духовно мертвое, оно судорожно корчилось, как гальванизированный труп, и на пороге новой жизни тупо злилось, трусливо и злобно шипело, чувствуя, что на земле для него остались только могилы. Буйная молодость дерзко и весело пела отходную остаткам крепостного строя и

зорко присматривалась, ища свое место в жизни.

А правительство, освободив народ, тотчас же усердно занялось разведением чиновников, ковкой звеньев новой цепи для народа. К разночинцам оно относилось подозрительно и враждебно, люди, которые не хотели быть чиновниками, были излишни и вредны для него, Было ясно — если интеллигент-разночинец хочет жить, он должен встать ближе к народу, опереться на него и увеличить свою дружину за его счет. Интеллигент понял это, пошел в народ сеять среди него «разумное, доброе, вечное»...

Разумеется, наше правительство не могло допустить на ниве народной никаких посевов, кроме тех, которые укрепляли бы легенду о неземном происхождении его власти. И вот началась беспримерная в истории эпическая борьба горсти смелых людей с чудовищем, которое похитило свободу и зорко, жадно стережет ее...

Эта битва была красива, как старый рыцарский роман, она родила много героев и пожрала их, как Сатурн своих детей. Герои погибли. Участь героев — всегда такова, и не будем оскорблять память героев сожалением о гибели их...

Это были стойкие, крепкие люди, но история поставила их между холодной наковальней и тяжелым молотом. Много они хотели поднять, много сдвинули с места и надорвались в усилиях разбудить народ,— он до этой поры не видел ничего доброго от господ и не поверил им, когда они бескорыстно принесли ему ученье о свободе, равенстве, братстве.

Те, кому лгали столетия, не могли научиться верить в годы...

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить;

У ней особенная стать,

В Россию можно только верить.

В эти дни, когда рыцари бились насмерть со змеем, — мещанство в стихах и прозе доказывало, что русский народ чрезвычайно самобытен и что греховная западная наука, развратные формы жизни Запада совершенно не годятся для него. Влияние Запада может только испортить, разрушить кроткую, мягкую душу и прочие редкие качества народа-богоносца, воспитанные в нем порками на конюшнях, сплошной неграмотностью и другими идеальными условиями русской самобытности.

В творениях мещан на эту тему есть много любопытного, но самое замечательное в них — соединение таланта с какой-то истинно восточной ленью ума и татарской хитростью, которой мещане прикрывали эту лень мыслить смело и до конца яркопестрыми словами восторга пред народом. Немой, полуголодный, безграмотный народ, по уверению мещан, был призван обновить весь мир таинственной силой своей души, но для этого прежде всего требовалось отгородить его от мира высокой стеной самобытности, дабы не коснулся его свет и воздух Запада. Он, еще недавно награда вельможам за придворные услуги, живой инвентарь помещичьих хозяйств, доходная статья, предмет торговли, вдруг стал любимой темой разговоров, объектом всяческих забот о его будущей судьбе, идолом, пред которым мещане шумно каялись во

грехах своих. Растерянная, суетливая мещанская мысль, как летучая мышь над костром, завертелась вокруг народа в своих поисках оправдания и примирения.

Эта жалкая суета развращала порою лучшего поэта тех дней, и часто он, вступая в общий хор лицемерно кающихся, фальшиво вторил им:

...Успели мы всем насладиться.

Что ж нам делать? Чего пожелать?..

...Пожелаем тому доброй ночи,

Кто все терпит во имя Христа,

Чьи не плачут суровые очи,

Чьи не ропщут немые уста,

Чьи работают грубые руки,

Предоставив почтительно нам

Погружаться в искусство, науки

Предаваться мечтам и страстям...

В этом, допустим, искреннем лирическом порыве сытого и несколько сконфуженного своей сытостью человека чувствуется немного иронии над

собой, но — какая странная скудость фантазии! Неужели народу, усыпленному насильно, народу, сон которого ревниво оберегали тысячи верных слуг Левиафана-государства, неужели этому народу нельзя было пожелать ничего лучшего доброй ночи? В те дни, когда уже многие били в набат, стараясь разбудить его? В те дни, когда герои одиноко погибали в битвах за свободу?

Мещанам нравились подобные стихи, и они искренно, от всей души, желали милому народу — спокойной ночи. Что они могли пожелать ему, кроме этого? Это и гуманно и дешево...

В это время — время борьбы — одни из них тревожно и угрюмо, как совы, кивали головами на Запад, где горел, не угасая, огонь свободы и в муках рождалась истина; они кричали, что оттуда льется отрава, которая погубит русский народ. Другие пристраивались в услужение к радикальным идеям, незаметно стараясь одеть их в уродующие одежды компромисса. Третьи злобно в стихах и прозе клеветали на все, что было им враждебно,— молодо, красиво, смело,— и во всем, что они делали, звучала их вечная тревога за свой покой — тревога нищих духом.

А в страну медленно входил железной стопой окутанный серыми тучами дыма и пара великий революционер, бесстрашный слуга желтого дьявола, жадного золота,— все разрушающий капитализм...

III

Толстой и Достоевский — два величайших гения, силою своих талантов они потрясли весь мир, они обратили на Россию изумленное внимание всей Европы,

и оба встали, как равные, в великие ряды людей, чьи имена — Шекспир, Данте, Сервантес, Руссо и Гете. Но однажды они оказали плохую услугу своей темной, несчастной стране.

Это случилось как раз в то время, когда наши лучшие люди изнемогли и пали в борьбе за освобождение народа от произвола власти, а юные силы, готовые идти на смену павшим, остановились в смятении и страхе пред виселицами, каторгой и зловещей немотой загадочно неподвижного народа, молча, как земля, поглотившего кровь, пролитую в битвах за его свободу. Мещане, напуганные взрывами революционной борьбы, изнывали в жажде покоя и порядка, готовые подчиниться победителю, предать побежденного и получить за предательство хоть маленький, но всегда лакомый для них кусок власти...

Тяжелые серые тучи реакции плыли над страной, гасли яркие звезды надежд, уныние и тоска давили юность, окровавленные руки темной силы снова быстро плели сети рабства.

В это печальное время духовные вожди общества должны бы сказать разумным и честным силам его:

«Нищета и невежество народа — вот источник всех несчастий нашей жизни, вот трагедия, в которой мы не должны быть пассивными зрителями, потому что рано или поздно сила вещей заставит всех нас играть в этой трагедии страдающие и ответственные роли. Для государства мы — кирпичи, оно строит из нас стены и башни, укрепляющие злую власть его. Искусно отделяя народ от нас, оно делает всех бессильными в борьбе с его бездушным механизмом. Никто разумный не может быть спокоен, доколе народ — раб и слепой зверь, ибо он

прозреет, освободится и отомстит за насилие над ним и невнимание к нему. Не может быть красивой жизни, когда вокруг нас так много нищих и рабов. Государство убивает человека, чтобы воскресить в нем животное и силою животного укрепить свою власть; оно борется против разума, всегда враждебного насилию. Благо страны — в свободе народа, только его сила может победить темную силу государства. Поймите — нет иной страны, где бы люди чести, люди разума были так одиноки, как у нас. Боритесь же за торжество свободы и справедливости, в этом торжестве — красота. Да будет ваша жизнь героической поэмой!..»

— Терпи! — сказал русскому обществу Достоевский своей речью на открытии памятника Пушкину.

— Самосовершенствуйся! — сказал Толстой и добавил: — Не противься злу насилием!..

...Есть что-то подавляюще уродливое и постыдное, есть что-то близкое злой насмешке в этой проповеди терпения и непротivления злу. Ведь два мировых гения жили в стране, где насилие над людьми уже достигло размеров, поражающих своим сладострастным цинизмом. Произвол власти, опьяненный безнаказанностью, сделал всю страну мрачным застенком, где слуги власти, от губернатора до урядника, нагло грабили и истязали миллионы людей, издеваясь над ними, точно кошка над пойманной мышью.

И этим замученным людям говорили:

— Не противьтесь злу! Терпите!

И красиво воспевали их терпение. Этот тяжелый пример наиболее ярко освещает истинный характер отношения русской литературы к народу. Вся наша литература — настойчивое учение о пассивном отношении к жизни, апология пассивности. И это естественно.

Иной не может быть литература мещан даже и тогда, когда мещанин-художник гениален.

Одно из свойств мещанской души — раболепие, рабье преклонение перед авторитетами. Если некто однажды подал мещанину от щедрот своих милостыню внимания, — мещанин делает благодетеля кумиром и кланяется ему, точно нищий лавочнику. Но это только до поры, покуда кумир живет в гармонии с мещанскими требованиями, а если он начнет противоречить им, — что бывает крайне редко, — его сбрасывают с пьедестала, как мертвую ворону с крыши. Вот почему писатель-мещанин всегда более или менее лакей своего читателя, — человеку приятно быть идолом.

Ожидаю, что идолопоклонники закричат мне:

«Как? Толстой? Достоевский?»

Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников, я только открываю мещан. Я не знаю более злых врагов жизни, чем они. Они хотят примирить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям, за бесстрашие свое к страданиям мира. Они учат мучеников терпению, они убеждают их не противиться насилию, они всегда ищут доказательств невозможности изменить порядок отношений имущего к

неимущему, они обещают народу вознаграждение за труд и муки на небесах и, любясь его невыносимо тяжелой жизнью на земле, сосут его живые соки, как тля. Большая часть их служит насилью прямо, меньшая — косвенно: проповедью терпения, примирения, прощения, оправдания...

Это — преступная работа, она задерживает правильное развитие процесса, который должен освободить людей из неволи заблуждений, она тем более преступна, что совершается из мотивов личного удобства. Мещанин любит иметь удобную обстановку в своей душе. Когда в душе его все разложено прилично — душа мещанина спокойна. Он — индивидуалист, это так же верно, как нет козла без запаха.

В древности еврейский мудрец Гиллель дал человеку удивительно простую и ясную формулу индивидуального и социального поведения.

«Если я не за себя, — сказал он, — то кто же за меня? Но если я только за себя — зачем я?»

Мещанин охотно принимает первую половину формулы и не может вместить другой.

Есть два типа индивидуализма: индивидуализм мещанский и героический.

Первый ставит «я» в центре мира — нечто удивительно противное, напыщенное и нищенское. Подумайте, как это красиво — в центре мира стоит жирный человечек с брюшком, любитель устриц, женщин, хороших стихов, сигар, музыки, человек, поглощающий все блага жизни, как бездонный мешок. Всегда

несытый, всегда трусливый, он способен возвести свою зубную боль на степень мирового события, «я» для этого паразита — все!

Второй говорит: «Мир во мне; я все вмещаю в душе моей, все ужасы и недоумения, всю боль и радость жизни, всю пестроту и хаос ее радужной игры. Мир — это народ. Человек — клетка моего организма. Если его бьют — мне больно, если его оскорбляют — я в гневе, я хочу мести. Я не могу допустить примирения между поработителем и поработленным. Противоречия жизни должны быть свободно развиты до конца, дабы из трения их вспыхнула истинная свобода и красота, животворящая, как солнце. Великое, неисчерпаемое горе мира, погрязшего во лжи, во тьме, в насилии, обмане, — мое личное горе. Я есть человек, нет ничего, кроме меня».

Это миропонимание, утонченное и развитое до красоты и глубины, которой мы себе представить не можем, вероятно, и будет миропониманием рабочего, истинного и единственно законного хозяина жизни, ибо строит ее он. Это миропонимание в русской литературе не отражалось. Она вообще не могла создать героя, ибо героизм видела в пассивности, и если пыталась изобразить активного человека, — это выходило бескровно и бесцветно даже у такого красивого и крупного таланта, как Тургенев. Только яркий и огромный Помяловский глубоко чувствовал враждебную жизни силу мещанства, умел беспощадно правдиво изобразить ее и мог бы дать живой тип героя, да Слепцов, устами Рязанова, зло и метко посмеялся над мещанином...

Восьмидесятые годы были временем полного торжества мещан, и, как всегда, они торжествовали злобно, но скучно и бесцветно. Со слезами восторга

прослушали речь Достоевского, и она успокоила их. Терпение ни к чему не обязывало мещан, но его можно было рекомендовать народу. Они, конечно, спокойно сложили бы бессильные, хоть и жадные руки, но совесть — эта накожная болезнь мещанской души — настойчиво указывала на необходимость вооружения народа оружием грамоты, и некая, небольшая часть их видела свое одиночество в стране, где так мало грамотных людей, которые могли бы играть для мещан роли слушателей, собеседников, читателей, потребителей газет, книг и прочих продуктов высшей деятельности мещанского духа. Мещанин любит философствовать, как лентяй удить рыбу, он любит поговорить и пописать об основных проблемах бытия — занятие, видимо, не налагающее никаких обязанностей к народу и как нельзя более уместное в стране, где десятки миллионов человекоподобных существ в пьяном виде бьют женщин пинками в животы и с удовольствием таскают их за косы, где вечно голодают, где целые деревни гниют в сифилисе, горят, ходят — в виде развлечения — в бой на кулачки друг с другом, при случае опиваются водкой и во всем своем быте обнаруживают какую-то своеобразную юность, которая делает их похожими на первобытных дикарей... Итак — мещане все-таки поняли необходимость увеличить свою армию и взялись за дело.

Раздался успокаивающий и довольный крик — истинно мещанский пароль: «Наше время — не время широких задач!»

И наскоро создали пошлый культ «мелких дел» — воистину мещанский культ. Какая масса лицемерия была вложена в этот культ и сколько было в нем самообожания!

Другая группа мещанства — быть может, более искренняя в своем желании оправдать печальный и постыдный факт своего бытия — пошла на зов Толстого. Началось «самосовершенствование», этот жалкий водевиль с переодеванием. В стране, где люди еще настолько не разумны, что пахут землю деревянной сохой, боятся колдунов, верят в чёрта,— в этой грустной и бедной стране грамотные люди, юродствуя идеи ради, стали отрицать разум. Подвергли науку наивной и убогой критике. Отрицали искусство, отрицали красоту, одевались в крестьянское платье и неумелыми руками ковыряли бесплодную землю, всячески стараясь приблизиться к дикарю и называя это самоистязание «опрощением». Дикий, но совсем не глупый мужик смотрел на чудаков и пренебрежительно усмехался, не понимая мотивов странного и смешного поведения господ. Иногда, раздраженный своей тяжелой жизнью, выпивший водки, мужик обижал опрошеченцев, но они «не противились злу» и этим вызывали к себе искреннее презрение мужика.

Так вело себя мещанство совестливое, а масса его — жадная и наглая — открыто торжествовала победу грубой силы над честью и разумом, цинично добивая раненых. Она создала из клеветы, грязи и лицемерной угодливости победителю некий форт для защиты своего положения в жизни, в него засели довольно талантливые языкоблуды, навербованные по преимуществу из ренегатов, и дружно принялись заливать клеветой и ложью все, что еще горело в русской жизни.

Погибли «Отечественные записки», и один из ренегатов проводил их в могилу гаденькой усмешкой:

— Пела-пела пташечка да замолкла. Отчего ж ты, пташечка, приуныла?

Эти потомки крови Иуды Искарюта, Игнатия Лойолы и других хриstopродавцев, охваченные болезненной жаждой известности, но слишком ничтожные для того, чтобы создать нечто крупное, скоро почувствовали свое бессилие быть вождями и сделались растлителями мещанства. Открыто брызгая пахучей слюной больных верблюдов на все мало-мальски порядочное в русской жизни, они более четверти века развращали людей проповедью ненависти к инородцам, лакейской услужливости силе, проповедью лжи, обмана,— и нет числа преступлениям их, нет меры злу, содеянному ими. Малограмотные и невежественные, они судили обо всем всегда «применительно к подлости», всегда с желчью неудачников на языке. Некоторые из этих желчных честолюбцев еще и теперь старчески ползают по страницам своей газеты, но это уже змеи, потерявшие яд. Безвредные гады, они вызывают только чувство отвращения к ним своими бессильными попытками сказать еще что-нибудь гнусное и развратное, еще раз подстрекнуть кого-то на преступление...

Но все это известно, и обо всем этом так же противно и стыдно говорить, как о насилии над женщиной, как о растлении ребенка, и хочется поскорее подойти к поведению мещанства сегодня, в наши трагические дни...

Однако справедливость побуждает указать, что наиболее жизнеспособные мещане шли и в революцию. Они понимали, что толкнутся в тесных развалинах старой тюрьмы, выстроенной подневольным трудом, у них не было определенной позиции в темном хаосе русской жизни, жизнь их была бесцветна и скучна. И они пошли в революцию охотно, но — как спортсмены-англичане

ездят из Лондона на Каспий бить диких уток. Со временем мы увидим этих господ среди работников революции, где они, вместе с госпожами Кукшиными, производят неприятный шум, вредную суету и путаницу, увидим, как они, органически с народом не связанные, чуждые ему, капризные в своих настроениях, быстро, как фокусники, меняли свои взгляды, вызывая этим тяжелые недоумения в головах своих учеников и отрицательное, враждебное отношение у рабочих к представителям пролетарской интеллигенции.

Рядом со всеми этими попытками маленьких, трусливых людей уклониться от суровых требований действительности в тихую область мечтаний или удобно встать где-либо с краю жизни в качестве зрителя, наблюдающего ее драмы, рядом с иезуитской суетой мещанства — бесстрастно шла железная работа капитала, математически правильно сортировавшего людей на две резко враждебных группы, а в красных корпусах фабрик и заводов, под гулкой шум машин, воспитывалась новая, могучая, истинно жизненная сила, та сила, которой ныне все мещане обязаны своим освобождением из тесной клетки государства и для которой они готовы создать другую клетку, попрочнее той, где они сами сидели. Мещанин в политике ведет себя, как вор на пожаре, — украл перину, снес ее домой и вновь явился на пожар гасить огонь, который он же сам тихонько раздувал из-за угла...

IV

В ту пору, когда мягкосердечные мещане осторожно пытались пронести во тьму народной жизни, мимо глаз стоокого цербера-государства, тускло горевшие светильники своих добрых намерений, в то время, когда ренегаты, опьяненные мстительной злобой, цинично плясали разнузданный танец торжества своего

над могилами павших героев, а мещане, безразличные, наслаждались покоем и крепким порядком в серой мгле все победившей пошлости,— в эту пору государство снова хлопотливо стягивало грудь народа железными обручами рабства...

Дряхлый демон России, прокурор церкви Христовой, слуга насилия и апологет его, сладострастными руками фанатика вцепился в горло страны и душил ее и в безумии восторга кричал:

— Велико и свято значение власти! Она служит для всех зеркалом правды, достоинства, энергии!

И вводил церковные школы в дополнение к земским начальникам.

Это было нагло, но многие находили, что это сильно и талантливо,— иногда цинизм выгоден мещанам, они находят его красивым.

Власть, подобно Цирцее, превращает человека в животное. Стремление ко власти свойственно только людям ограниченным, только тем, кто не способен понять красоту и великую мудрость внутренней свободы, той свободы, которая не способна подчиняться и не хочет подчинять. Властные люди вообще — тупы, а когда они могут действовать безнаказанно, в них просыпается атавистическое чувство предка-раба, и они как бы мстят за его страдания, но мстят не тем, кто заставляет страдать, а тем бесправным людям, которые отданы государством под власть его представителей,— а так как Россия слишком долго была страной рабов — в ней представители власти более, чем где-либо, разнузданны и жестоки...

Когда люди, незадолго пред этим чувствовавшие, что кто-то энергично вырывает власть из их рук, снова увидели себя владыками,— они бросились на страну, как звери, и ненасытно стали сосать кровь ее покорных людей, они вцепились жадными когтями в ее огромное неуклюжее тело и грабили, истязали, душили людей, как варвары-завоеватели, истощали ее, как бациллы гноя зараженный организм. Это было время буйного торжества животных, тем более злых, что еще недавно они трепетали от страха.

Страна, казалось, скоро задохнется.

Но, сгибаясь под тяжестью насилия, ослепленный невежеством, ленивый с отчаяния, народ жил и молча наблюдал. Тяжелая жизнь выработала в нем нечеловеческую выносливость, изумительную способность пассивного сопротивления, и под гнетом злой силы государства он жил, как медведь на цепи, молчаливой, сосредоточенной жизнью пленника, не забывая о свободе, но не видя дороги к ней.

Народ по природе сильный и предприимчивый, он долго ничего не мог сделать своими крепкими руками, туго связанными бесправием; неглупый, он был духовно бессилён, ибо мозг его своевременно задавили темным хламом суеверия; смелый, он двигался медленно и безнадежно, ибо не верил в возможность вырваться из плена; невежественный, он был тупо недоверчив ко всему новому и не принимал участия в жизни, подозрительно косясь на всех.

И во что он мог верить? Все новое приходило к нему со стороны барина, давнего врага, и всегда в этом новом он должен был чувствовать нечто не для него, но против него. Когда он немного выучился грамоте и стал читать маленькие

книжки, он чувствовал в них всегда одно: настойчивое желание господ видеть его добрым, трезвым, мягким.

«Все люди — братья, все равны!» — доказывали ему авторы книжек.

А вокруг него стояли исправники, земские начальники, становые, урядники — ели его хлеб, брали с него подати, секли его розгами, а за чтение книжек сначала просто били по зубам, а потом даже начали сажать в тюрьму.

«Не в силе бог, а в правде!» — утешали его добрые господа, а он, от применения к его спине силы, по неделям сесть не мог.

«Надо любить ближнего, как самого себя!» — убедительно, и даже порой красиво, поучали его люди из города, а их отцы и братья в деревнях старались возможно дешевле купить его труд и просили начальство сочинить построже законы о найме сельскохозяйственных рабочих.

«Не бей свою жену, ибо она хотя и женщина, но тоже человек, учи детей грамоте, ибо «знание — радость, знание — свет», не пей водку — она разрушает организм,— и не воруй!» — говорилось в книжках.

Мужик читал это и видел: господа спокойно берут его жену на должность коровы — кормить ее молоком своих детей, его жена беременная моет за гривенник полы в усадьбе, дочь его при первом же удобном случае развращают, и вообще к жителям деревни господа относятся менее внимательно и бережливо, чем, например, к своим лошадям, собакам и другим домашним животным. Он видел, что господам действительно очень полезна грамота, но

школа, устроенная ими для его детей, ничего хорошего не дает им, а только отбивает от работы. И видел, что господа, поучая его не пить водку, сами с большим наслаждением разрушают свои организмы и водкой, и вином, и обжорством, и развратом. И видел, что его кругом обокрали.

«НЕ БУДЬ ЖАДЕН!» — ГОВОРИЛИ ЕМУ И ВСЁ ПОВЫШАЛИ АРЕНДУ НА ЗЕМЛЮ, ВСЁ ПОНИЖАЛИ ПЛАТУ ЗА ТРУД.

Книжки резко противоречили всему складу мужицкой жизни, и поступки господ тоже противоречили морали книжек, написанных ими. В самом факте появления какой-то особенной литературы, нарочито сочиняемой «для народа», уже есть нечто подозрительное, как и вообще во всех действиях мещан, направленных к торжеству «общего блага».

Мещане — повторяю — во что бы то ни стало хотят жить в мире со всем миром, спокойно пользуясь плодами чужого труда и всячески стараясь сохранить то равновесие души, которое они называют счастьем.

Что же, кроме лжи и лицемерия, можно внести в «общее благо», обладая такой психологией? И это «общее благо», как его представляют себе мещане,— огромное, топкое болото, оно покрыто густой плесенью добрых намерений, над ним вечно стоит серый, мертвый туман лживых слов, а на дне его — задавленные люди, живые люди, обращенные в орудия обогащения мещан. Это «общее благо» пахнет кровью и потом обманутых, поработанных людей.

Жизнь ставит дело просто и ясно: общее благо невозможно, пока существует хозяин и работник, подчиненный и командующий, имущий и неимущий.

Или все люди — несмотря на яркое различие их душ — товарищи, политически и экономически равные друг другу, или вся жизнь — отвратительное преступление, гадкая трагедия извращенности, процесс, не имеющий оправдания...

Сколько ни кропи море духами, оно все-таки даст запах соли, и, конечно, немного бы сделали добрые мещанские книжки, если бы они учили только добродетелям, выгодным для мещан, и если бы, кроме книжек, не было других влияний, способных своей силой возбудить мысль даже в камне.

По степям, мимо деревень, как гигантские железные черви, рассыпая огненные искры, с торжествующим грохотом поползли локомотивы и вагоны, пожирая хлеб мужика. Около деревень хмуро встали красные стены заводов и фабрик, угрожающе поднялись в небеса огромные трубы, черный дым кощунственно летел к жилищу бога, не боясь его гнева. В барских усадьбах явились машины, они сеяли, жали, косили, отнимая стальными руками работу у человека, и человек, чтобы не умереть с голоду, шел с поля в широко открытую жаркую пасть фабрики. Там вокруг него хлопотливо, шумно, правильно вертелись колеса, двигались поршни, зловеще гудело железо, и всё, все плоды земли, всё рожденное ею — камень, дерево и сама она — всё превращалось в золото и уходило куда-то далеко прочь от человека, оставляя его, истомленного, усталого, с одним куском хлеба и без копейки на старость.

Рев плавильных печей, визг станков, глухие удары молота, сотрясавшие землю,

бесконечное движение ремней и всюду ярко пылающий красивый, веселый огонь — всё это было грандиозно, страшно, подавляло человека своей лихорадочной жизнью и невольно возбуждало в нем острый, разрушительный вопрос:

«Зачем так? Для кого?»

И он начинал понемногу догадываться, что весь этот механически правильно, но бессмысленно действующий ад создан и приведен в движение ненасытной жадностью тех людей, которые захватили в свои руки власть над всей землей и над человеком и всё хотят развить, укрепить эту власть силою золота. Они обезумели от жадности, сами стали глупыми и жалкими рабами своих фабрик и машин, своих векселей и золота, зарвались, запутались в сетях дьявола наживы, как мухи в паутине, и уже не отдают себе отчета — зачем все это им? — и не видят, отупевшие, не могут видеть возможности жить иначе — иной жизнью, красивой, свободной, разумной. Они плывут безвольно, как утопленники, в отвратительном потоке бессмысленной и противной суеты, окутанные едким дымом и запахом человеческого пота, окруженные жадным лязгом железа и стонами людей, которые служат при железе для того, чтобы увеличить золото в карманах мещан,— золото, умертвившее душу мещанина,— золото — металлического бога ограниченных и жалких людей.

Человек увидел и понял, что его руки создают все, а он не имеет ничего, кроме нищенского права съесть столько хлеба, сколько нужно, чтобы снова работать и, наконец, создав в течение жизни неисчислимое количество богатств, издохнуть с голоду. Человек задумался, потрясенный очевидностью Кто он,

создающий так много лишнего и не имеющий необходимого? Хозяин жизни или раб ее?

Человек работал на фабрике и видел, как из бесформенных кусков руды его труд создает машины и ружья, как бессильные, тонкие, робко дрожащие нити соединяются в плотную, крепкую ткань и веревки,— человек протестовал против жадности капитала и видел, что из ружей, им же сделанных, убивают его товарищей, что из веревок делают петли для его друзей.

Всюду вокруг ярко смеялся над ним красный, злобно веселый могучий огонь и возбуждал к жизни необоримую силу человека, мысль его. Капитал, раздевая его тело, превращал человека из раба — хозяина кусочка бесплодной земли — в свободного нищего, из пассивного страдальца, поражавшего мир терпением, в пылкого, упорного борца за свое право быть человеком, а не доходной статьёй мещан.

И он начал свою великую борьбу.

Жестокость богатства так же очевидна, как и глупая жадность его. Неразборчивый, как свинья, капитал пожирает всё, что видит, но нельзя съесть больше того, сколько можешь, и однажды он должен пожрать сам себя — эта трагикомедия лежит в основе его механики. Сила капитала — механическая грубая сила; этот ком золота, точно ком снега, брошенный под гору, вовлекая в себя всякую дрянь, увеличивается в объеме от движения, но само движение слепо, безвольно и не может иметь оправдания, когда оно давит и уничтожает миллионы людей...

По пути к самоуничтожению капитал, развиваясь, захватывает на служение своим интересам и государство, оно растворяется в нем, теряет свой животновластно-самодовлеющий характер власти ради власти, и короли ныне покорно служат интересам фабрикантов и лавочников. Капитал похож на чуму, которая одинаково равнодушно убивает водовоза и губернатора, священника и музыканта. И, как чума, сам по себе он не нуждается в оправдании бессмысленности своего роста,— механически правильно сортируя людей на классы, независимо от своей воли развивая их сознание, он сам создает себе непримиримых врагов, раздражая человека своей жадностью, как дурак раздражает быка красным. Зло жизни, он не стесняется своей ролью, он цинично откровенен в своих действиях и, нагло говоря грохотом машин «все мое!», равнодушно развращает людей, искажает жизнь. Таков он есть, он не может быть иным, и это хорошо, потому что просто, всем понятно и очень быстро создает в душе представителя гнида резко отрицательное, непримиримо враждебное отношение к представителю капитала.

Но для мещан капитал — идол, сила и необоримая власть, и они раболепно служат ему, довольные теми объедками, которые пресыщенное животное бросает им под стол, как собакам. Они не обижаются на это — чувство человеческого достоинства не развито у мещан,— ослепленные блеском золота, они служат господину не только из страха пред силой его, но уважая силу, и не только служат, что естественно, ибо и мещанин любит есть много и вкусно, но подслуживаются, что уже противно. Мещане всегда моралисты, и вот, сознавая моральную наготу своего кумира, смутно чувствуя преступность его бытия, они пытаются подложить смягчающие вину философские основания под этот процесс насилия, истязания и убийства миллионов людей ради накопления

золота в карманах десятков. И, доказывая право капитала грабить, убивать, они думают скрыть факт своего соучастия в грабежах и убийствах.

«Иначе — нельзя!» — говорят они.

«Можно!» — отвечают им социалисты.

«Ах, это мечта!» — возражают мещане и снова жульничают, всюду выискивая доводы, способные подтвердить вечную необходимость деления людей на богатых и бедных и незыблемость такого порядка, одинаково унижающего и рабочего, и капиталиста, и самих мещан.

Эти жалкие попытки трусливых холопов остановить колесницу истории горами лживых слов, брошенных по пути ее движения, иногда действительно замедляют ход жизни, затемняя и запутывая медленно растущее в массе народа сознание своего права, и вот почему нужно всегда помнить, как свое имя, что истинный враг жизни не капитал — стихийная, глупая, безвольная сила, — а холопы его, почтенные мещане, желающие в интересах своего личного счастья доказать массам народа невозможность иного порядка жизни, примирить рабочего с его ролью доходной статьи для хозяина и оправдать жизнь, построенную на порабощении большинства меньшинством...

Роль примирителя — двойственная роль, и мещанин — вечный пленник внутреннего раздвоения. Все, что он когда-либо выдумал, носит в себе непримиримые и подлые противоречия. Он в одно время дает человеку бутылку водки и книжку о вреде алкоголя, взимая с того и другого товара известный процент в свою пользу. Он говорит о необходимости строить тюрьмы гуманно.

Признавая женщину всячески равной мужчине, он из соображений «реальной политики» — то есть политики скорейшего и во что бы то ни стало установления твердого порядка — лишает ее права голоса, несмотря на то, что его супруга, вероятно, не менее, чем он, жаждет торжества порядка и равновесия души. Он готов принять в свои объятия свободу, но обязательно в качестве законной супруги, дабы «в пределах законности» насиловать ее, как ему угодно. Он обладает, как все паразиты, изумительной способностью приспособления, но никогда не приспособляется к истине. Он способен видеть и принять только правду факта, и ему чужда и непонятна правда человеческого стремления к творчеству фактов.

Всего ярче открывается его пестрая, искаженная холопством пред силой, отравленная неустанной жаждой покоя и довольства, маленькая, скучно честолюбивая, липкая душа в эпохи народного возбуждения, когда он, серый, суетливый и жадный, жутко мечется между черным представителем гнета и красным борцом за свободу, стараясь скорее понять — кто из этих двух победит? Где сильнейший, на чью сторону он мог бы скорее встать, дабы водворить порядок в жизни, установить равновесие в душе своей и урвать кусок власти?

Жалкое существо, и, если б оно не было так вредно, о нем не следовало бы говорить, но о нем необходимо говорить больше всего, как это ни противно.

Мещане — лилипуты, народ — Гулливер, но если его запутать всеми нитками лжи и обмана, которые находятся в руках этого племени, он должен будет потратить лишнее время для того, чтобы порвать эти нитки.

Наши дни не только дни борьбы, но и дни суда, не только дни слияния всех работников правды, свободы и чести в одну дружину непобедимых, но и дни разъединения со всеми, кто еще недавно шел в тылу армии пролетариата, а теперь, когда она одержала победу, выбегает вперед и кричит:

«Это мы победили! Мы — представители народа! Пожалуйста, давайте нам место, где бы мы могли сесть, чтобы торговаться с вами. Мы продаем русский рабочий народ — сколько дадите?»

Они, вероятно, скоро продадут, потому что просят дешево...



Нашли ошибку? Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.